



# Родина романа

## *Предисловие*

Роман «Почерк Леонардо» во многом построен на материале «чужеземной жизни», тщательно прописанной, так, чтобы русский читатель увидел и пароходик на Рейне, и виноградники, шпили башен немецкого городка и улицы Монреаля. Однако есть там и Киев, и разные прочие советские широты вполне гастрольного-циркового толка.

«С чего начинается родина» любого романа? На этот вопрос каждый литератор ответит по-своему, причем, каждый раз, с каждой новой книгой, иначе ответит.

Судьбы книг очень похожи на человеческие. И зарождение книги очень напоминает зарождение человеческой жизни. Крошечная клетка, из которой вырастает целый мир. Бывает так, что вдруг видишь какое-то лицо, которое тебя потом мучает, требует воплощения... А бывает, что весь роман со всеми своими героями обрушивается на тебя некой звучащей интонацией.

Мой роман «Почерк Леонардо» зародился на чужбине...

Он «завучал» во мне явственно и внезапно за завтраком, на кухне у моей сестры в Бостоне. Она рассказывала, как ее знакомый оркестрант, фаготист, однажды в октябре ехал на репетицию оркестра в соседний городок по очень крутой горной дороге. Неожиданно, внезапно и не

типично для октября в Новой Англии налетела снежная буря, стали падать деревья, нагруженные листвой и снегом, дорогу завалило... И фаготист просидел в машине восемь часов, потому что дорожные службы не были готовы к такой внезапной зиме.

Поскольку его фагот мог замерзнуть, музыкант стал играть, разогревая инструмент, и много часов играл весь свой репертуар... Заканчивал Баха, возвращался к Сен-Сансу...

Едва сестра это произнесла, во мне зазвучал фагот... Густой одинокий протяжный голос в снежной буре. Я сразу поняла, что это — роман. С необыкновенной ясностью осознала, что *мой*-то музыкант и ехал, возможно, на репетицию, только не доехал... Поняла, что обязательно должна там быть любовь, большая трагическая любовь...

Я не знала еще, не видела лица героини, не понимала — к кому, зачем он едет... а только именно в те минуты роман уже состоялся — этой интонацией, этим голосом фагота... Оставалось только написать этот роман, «разыграть», оркестровать, разнообразить...

Однако «улита едет»... Интересно, что героиню, спустя чуть ли не год, я нашла опять-таки в Америке, разъезжая по городам в очередной гастрольной поездке. К тому времени уже знала, что она должна быть... циркачкой. Она приснилась мне — шла с балансиром по канату. Я проснулась и подумала: что за бред? откуда? зачем? В цирке я была только в детстве раза два, вот уж совсем не мои утехы. Тогда я даже не знала, что тот самый шест, та палка, которую канатоходцы держат в руках, называется балансиром...

Однако в нашем деле следует очень чутко прислушиваться, когда тебя окликают во сне. Писательские сны — это, знаете ли, очень серьезно. Поняв, что моя героиня не желает слезать с каната, принялась я искать цирковых людей... А трудно! Совсем другая, чужая среда.

Тут звонит мне из Монреаля подруга Лена, я ей жалуясь на свои чисто писательские сложности, и она говорит: «Так ты приезжай к нам. Мои девчонки работают в знаменитом «Цирке дю Солей», одна переводчицей, другая в кастинге... Они все тебе покажут...»

Я подумала — вот и отлично, цирк у меня в кармане, ура. Опишу, как эти самые... ну, как их там... кувыркаются на этом самом... ну, как его там... Съезжу в Монреаль на пару дней, пошляюсь, поглазею, поговорю с кем-то из циркачей (тогда я еще не знала, что цирковые ненавидят это слово — «циркач», и никогда им себя не называют), и дело будет в шляпе — много ли надо писательскому воображению!

Само собой, за эту наглую самонадеянность, за неуважение к огромному чужому судьбинному труду я оказалась жестоко наказанной.

Приезжаю — в цирке каникулы, пустые студии, пустующие гримерки, никого нет, тренируется лишь какой-то воздушный гимнаст на трапеции. И так неэлегантно тренируется, медленно разучивая один и тот же трюк... скукота! Нет чтобы клоун навстречу и — ррраз! — перекувыркнулся... (Тогда я опять-таки не знала, что «клоун» в цирке называется иначе...)

Я просто в отчаяние впала! Роман начат, живой, уже во мне звучащий... а больше ничегошеньки-то и нет. И я заробела... Главное, стала догадываться, что Цирк — это бездна такая, которую не то что вычерпать, а по краешку пройти и то страшно. Обязательно свалишься без знания точных реалий. Куда уж мне, совершенно посторонней в том мире...

Короче, в ужасе и унынии возвращаюсь из Монреаля к сестре в Бостон, а та и говорит:

— Слушай, тебе тут звонили из Майами, говорят, ты обещала приехать, выступить? Ты, видимо, совсем спятила? Или географию в школе не учила? Ты знаешь,

что такое Майами — в июле?! Тебе Тель-Авив покажется Сибирью. К тому же это три с половиной часа лету туда, и столько же обратно. Во имя чего? Погарцевать перед пятью русскими пенсионерами?

Я совсем расстроилась: действительно же не представляла, что это за расстояния. А отказывать неудобно: обещала, организаторы уже купили мне билет на самолет...

Словом, поплелась я в Майами.

Прилетаю и уже в аэропорту понимаю, что конец мне — с моей-то астмой — настает самый натуральный. Меня встречает милая такая пара, муж и жена, местные активисты. Заботливо вытаскивают из кондиционированного аэропорта, запихивают в кондиционированный автомобиль... Но в эти три минуты перерыва я обреченно хватаю ртом воздух раскаленной домны и мысленно произношу разные очень эмоциональные слова.

— У нас тут отлично, — слышу я между тем своих провожатых, — климат хороший, теплый, вечное лето. Если б только не крокодилы...

— А что — крокодилы? — испуганно спрашиваю я. — Где они?

— Да везде, — охотно отвечают мне. — Вон, видите это шоссе, по которому мы сейчас едем? Называется Крокодиловая аллея. Сетки вдоль дороги видите? Это ограждения... Гринпис проклятый не дает отстреливать, вот и расплодилось их четыре миллиона. В дома заходят, в бассейны хлюпаются...

— А вы меня куда... поместите? — осторожно спрашиваю я.

— В квартирку тут одну. Она на первом этаже, так вы просто запирайтесь хорошенько. Да вам не стоит беспокоиться! Крокодилы на взрослых редко нападают. В основном на кошек, собак... ну и детей нельзя выпускать гулять

одних. А на взрослых — редко прыгают. Десять, примерно, случаев в год, не больше...

— Понятно, — говорю я, медленно остывая в этой жаре.

— А в океане их всех вообще акулы съели. Вы, Дина Ильинична, взяли купальник-то? Поплывать?

— Знаете... — мямлю я, — предпочитаю просто душ... если можно...

— Напрасно, напрасно! Акулы на людей довольно редко нападают. Случаев десять в год, не больше... Это все Гринпис проклятый: акулы им дороже людей... Да, собственно, и акулы-то не проблема. Проблема у нас — гремучие змеи.

— Ах вот как... — вежливо говорю я, леденя и цепенея от ужаса: вид любой змеи, несмотря на то что она — тотем моего гороскопа по году рождения, повергает меня в состояние падучей.

— Ну да. Если укусит, главное, присутствия духа не терять. У нас тут сразу: вертолет, госпиталь, сыворотка... И все — о'кей. Да нет, все будет хорошо, — с энтузиазмом продолжал милый человек. — Тут все можно пережить, кроме хэригана.

— А... это кто? — уже в полуобмороке спрашиваю я.

— Не кто, а что: хэриган, ну! Ой, простите, по-русски — «ураган». Видите, вон в зданиях — проемы окон зияют?

Отлично, думаю я, закрывая глаза: значит, жара, крокодилы, акулы, гремучие змеи, ураганы, пенсионеры...

Меня привозят, я выступаю перед действительно немногочисленной, но доброжелательной аудиторией; заработок плевый, но мне уже не до заработков. Мне бы сесть завтра на самолет и вернуться к сестре в Бостон.

Встретивший меня милый человек предлагает завтра «показать город». Я бы, честно говоря, посидела в запертой от крокодилов и змей квартире с кондиционером,

но — делать нечего — вежливо соглашаюсь, стараясь скрыть тайный ужас перед этой прогулкой.

— Тогда я зайду за вами в семь утра.

— Почему в семь? — осторожно интересуюсь я.

— А в девять утра гулять где бы то ни было по улице уже просто невозможно, — охотно отвечает он. И я ему верю.

И наутро мы идем пешком по городу, по набережной, я разглядываю яхты, виллы, парки... на каждом шагу вспоминаю свою умную сестру и, не вслушиваясь в голос моего провожатого, молча клянусь себе, что отныне... никогда, никогда!!! Господи, скорей бы сесть в самолет...

— У нас тут и люди разные интересные живут... — краем уха слышу я. — Например, воздушные канатоходцы Лина и Николай Никольские. Может, вам случалось бывать на их представлениях? Видели бы вы, как Коля шел по канату между двумя небоскребами! Без страховки!

И я останавливаюсь как громом пораженная, как соляной столп, — понимая в этот миг — ЗАЧЕМ судьба приволокла меня в летний невыносимый, крокодиловый-змеинный-акулий Майами.

Глядя на мое ошеломленное лицо, провожатый спрашивает:

— Что, хотите познакомиться?

А я одними губами:

— Хо-о-очу-у-у!!!

Так и встретила с замечательной Линой Никольской, которой и посвящен роман «Почерк Леонардо». Ибо до сих пор убеждена и повторяю в любом интервью на вопрос об этой книге, что Лина, уникальная воздушная гимнастка «подарила мне роман».

До известной степени так оно и есть. Просто Лина с великолепной щедростью делилась своим цирком, профессиональным багажом, судьбой, наконец. Моя героиня Анна проживает значительную часть цирковых

коллизий Лины Никольской. Целый год мы интенсивно переписывались; и это была настоящая работа, настоящая честная пахота: я «вскапывала» цирковое поле по сантиметру, изучая досконально все малейшие детали профессии и самого этого великого завораживающего мира.

А в первое наше свидание я была потрясена совсем другим: дом Никольских в Майами представлял собой настоящий питомник разных зверей. Несколько десятков попугаев! Кошки, собаки, целая стая белых павлинов во дворе... Кого там только не было. Разве что крокодилов и акул недоставало. Первым, кого я увидела, был огромный, щедро изукрашенный матушкой-природой попугай. Сначала я решила, что передо мной аляповато сделанная игрушка, уж больно яркие цвета: грудь зеленая, крылья красные, голова синяя... безвкусица какая-то... И вдруг голова игрушки склоняется к плечу, и на меня внимательно смотрят черные бусины глаз.

Лина сказала: «Ну, этот — так, красивая декорация. А вы вот взгляните на мою любимицу Шурочку, горбунью. Она не в клетке, она у меня в спальне живет».

Так я впервые увидела попугая жако. Умница-говорунья Шурочка в первую же минуту выдала мне свой репертуар. А когда в комнату вошла собака Каштан, Шурочка свесила с кровати крючковатый нос старой революционерки Розы Люксембург и прокуренным голосом прокрипела:

— Каштан! Чего тебе?

У меня даже колени ослабели от потрясения.

Так появился еще один герой романа — Говард. Попугай жако, в один из трагических моментов сюжета спасающий мою героиню Анну...

...Этот роман я считаю заговоренным. Помимо множества тайн, которые он содержит, его сопровождает нечто вроде заговора: кинематографисты, которые сразу по



выходу новой книги обычно запрашивают у меня права на создание фильма, обходят этот роман стороной. Не решаются приближаться к вулкану эмоций, к завесе над тайнами, к коробу фокусника, к миражам оптических зеркал?...

Интересно, что эта книга, которую я никогда не относил к жанру фантастики, награждена премией «Портал» как лучшая фантастическая книга 2009 года.

Странно... Однако не более странно, чем необъяснимое исчезновение из сюжета, из жизни, из книги...главной ее героини. Ясновидящей Анны...

*Дина Рубина*



ПОЧЕРК  
ЛЕОНАРДО

РОМАН





*Лине Никольской —  
воздушному канатоходцу*

И остался Иаков один. И боролся  
Некто с ним до восхода зари.

*Бытие 32:25 — 26*

Итак, пусть никто не ожидает, что  
мы будем что-либо говорить об анге-  
лах<sup>1</sup>.

*Бенедикт Спиноза.  
«О человеческой душе»*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Соколова.



# Часть первая

Леворукость имеет атавистический и дегенеративный характер... Нередко встречается у сумасшедших, преступников и, наконец, у гениев<sup>1</sup>.

*Чезаре Ломброзо*

## 1

Звонок был настырным, долгим, как паровозный гудок: межгород.

Телефон стоял в прихожей под большим овальным зеркалом, и, когда звонила мужнина родня, Маше казалось, что зеркало сотрясается, как от проходящего поезда, и вот-вот упадет.

Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проводе. По голосам их, что ли, на работу принимают?

Звонила Тамара, двоюродная сестра мужа.

Обычно она поздравляла с Новым годом или общала о смерти очередной тетки — у Анатолия в Мариуполе был целый хоровод престарелой родни.

Маша хотела сразу же передать ему трубку, но Тамара сказала:

— Постой-ка, Маш, я ведь именно что к тебе...

---

<sup>1</sup> Перевод К. Щербино.

И смущенной скороговоркой сообщила, что после неудачной операции аппендицита в Ейске померла племянница тети Лиды. Вот.

— Это какой же тети Лиды?

— Да видала ты ее, и племянницу видала на моей свадьбе. Тетя Лида, покойница, она не нам приходится родней, а со стороны...

Ну, пошло-поехало... Короче, с той, другой стороны, не мариупольской, а ейской.

Маша давно уже оставила многолетние попытки запомнить все родственные связи изобильной мужниной родни.

— ...и, слышь, племянница-то померла, но от нее осталась девчоночка трех лет.

— Ну и что?

— А то, — явно волнуясь, торопливо рассказывала Тамара, — что эту девочку никто из ихней родни брать не хочет, хотя родня очень даже зажиточная: двоюродная сестра покойницы сама зубной техник, дом — полная чаша...

Живые с покойниками в той родне дружно шагали рука об руку из рода в род, весело переключаясь и переругиваясь, dospоривая, допевая песню и допивая шкалик.

Странно, что никто из той родни так-таки и не хочет взять этого ребенка.

Маша стиснула зубы. Не горячись, сказала она себе, никто не собирался тебя обидеть, никому дела нет до твоей боли.

— Томка... — наконец сказала она спокойно. — Ты мне все это зачем говоришь?

Та замялась. В трубке шумел равнодушный прибой чьих-то гулких голосов, и Маша вдруг поняла, что

ради этого разговора Тамара явилась на телеграф, выстояла очередь к кабине...

— Ну, может, вы подумаете, Маш... — словно бы извиняясь, проговорила та. — Все же у вас детей нет, может, это шанс? Как ни крути, а тебе уже... тридцать шесть?

— Тридцать четыре, — оборвала Маша. — И я надежды не теряю. Я лечусь.

— Ну, как знаешь... — Тамара сразу сникла, потеряла интерес к разговору. — Так ты и телефона не запишешь, бабы этой, дантистки? На всякий случай?

И Маша зачем-то записала, чтобы не обижать Томку — ведь хорошего хочет, дурында этакая.

Все у них просто, у этих мариупольских коров с полными выменами...

Она опустила трубку и подняла голову. Из овального, в резной черной раме зеркала на нее внимательно смотрела еще молодая женщина с подвижным, усыпанным обаятельной веснушчатой крупкой лицом. За спиной у нее, в проеме открытой в спальню двери, виден был отдыхающий после дежурства муж. Его босая ступня покачивалась маятником в такт то ли мыслям, то ли мотивчику, напеваемому беззвучно. Лицо заслонено ставнем раскрытой книжки, название и автор опрокинуты в зеркалье — прочесть невозможно.

Далее перспектива зеркала являла окно, где тревожно металась на ветру усыпанная белыми «свечками» крона киевского каштана. А выше и глубже поднималась голубизна небесной пустоты, то есть отражение сливалось со своим производным, истаивало в небытии...

Вдруг ее испугало это.



Что? — спросила она себя, прислушиваясь к невнятному, но очень острому страху. Что со мной? Этот страх перед услужливо распахнутой бездной — почему он связан с привычным отражением в домашнем зеркале?

Всю ночь Маша не спала, дважды поднималась накатать себе валерьянки. Голя молчал, хотя она слышала, что и он ворочался до рассвета.

Ровно год назад у них после многолетних медицинских мытарств родился крупный, красивый мертвый мальчик.

Наутро после разговора с Мариуполем Маша дождалась, когда за мужем захлопнется входная дверь, и набрала номер телефона этой странной женщины, которая не могла или не хотела пригреть племянницу-сиротку.

И все сложилось: и дозвонилась быстро, и женщина оказалась на месте, и слышно было фантастически ясно. И разговор произошел мгновенный, отрывистый и исчерпывающий, словно судьба торопилась пролистнуть страницу с незначительным текстом.

Выслушав первую же Машину фразу, та сказала:

— Вы эту девочку не возьмете. Она невообразимо худа.

— Что это значит? — спросила Маша. — Она больна?

— Говорю вам, вы эту девочку не возьмете. Вы просто испугаетесь.

— А... где она сейчас? Кто за ней смотрит?

— Там соседка душевная, с покойной Ритой дружила. Она хлопочет насчет... определить девочку... в учреждение.

— Адрес! — тяжело дыша, сказала Маша. Та продиктовала.

Маша молча опустила трубку.

Днем Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкина, — пойдем?

— Что-то не хочется...

И весь вечер была сама не своя. Зачем-то села перебирать документы. Тихо сидела, задумчиво, как пасьянс, раскладывая аттестаты зрелости, дипломы, свидетельство о браке. Письма, которые писал ей Толя еще студентом Военной медицинской академии.

Перед сном он вышел из ванной, посмотрел на жену, зябко ссутуленную над цветными картонками документов, подобравшую под стул ноги в мягких тапочках. Маша подняла голову, улыбнулась винновато.

Он вздохнул и сказал:

— Ну, поезжай, разберись... Тебе ее воспитывать.

\* \* \*

До Ейска Маша добралась на поезде удобно, с одной всего пересадкой, но, когда разыскала нужный адрес по Шоссейной улице, оказалось, что девочка уехала с детским домом на летнюю дачу.

Пристроила ее та самая душевная соседка Шура, она из года в год работала хлеборезчицей на летних детдомовских дачах. Да ты сама посуди: неуж не выгодно: и харчи казенные, и воздух морской, и получка цельная остается. Все это Маша выяснила за десять минут у двух старух, словоохотливых обитательниц вечной околоподъездной лавочки.

— Шура-то прям извелася вся, испереживалася: не есть ребенок, хоть ты тресни, будто ее на ключ зам-

кнули. Може, там с детьми отойдешь? А то как бы не истаяла вовсе...

— А что отец? — спросила Маша. — Он вообще имеет место?

— О-он? Он место име-е-еть... — подхватила старуха. — На нарах он место имеет, добре место. Плац-карту бесплатну.

И вторая раскудахталась над этой шуткой и долго, захлеб, смеялась, отирая ладонью рот и повторяя:

— Эт точно, на нарах он место имеет, эт точно!

Маша добралась до автовокзала и купила билет, как соседки научили: до станицы Должанской.

...Летняя дача детского дома размещалась в четырехэтажном корпусе бывшего санатория то ли металлургической, то ли текстильной промышленности. Года четыре уже как здание передали Минздраву и после ремонта перевели туда детский санаторий. Так что сюда привозят детей с церебральным параличом. И, знаете, неплохо подлечивают. А один из корпусов сдают детским домам под дачу.

Попутно с этими сведениями Маше пришлось выслушать некоторые факты биографии представительного дяденьки в полосатой пижаме. *Мои жизнь и борьба в сборочном цеху тракторного завода*

Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час, — вернее, металась вдоль каменного парапета набережной, — и все толокся и толокся рядом, не чуя тяжелого ее волнения.

Началось с того, что она никак не могла разыскать Шуру, *душевную соседку*, — ту самую, что пристроила ребенка на дачу. Машу посылали с одного

этажа на другой, и повсюду Шуру «вот только что видели», потом — «за продуктами, видать, уехала...», пока одна из раздатчиц в пустой столовой, с подробным интересом изучив Машу с головы до босоножек, не сказала:

— А Шура, это... ваше...

— Что — вообще?

— Так это... отгулы она взяла. Зубы драть.

Кроме того, директриса, с которой только и можно было говорить о девочке, отлучилась утром в Ейск и вернуться должна была к четырем.

Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем.

Длинные белые пляжи благодатной косы были пересыпаны курортниками в цветных купальных костюмах. Во влажном, еще не выкаленном солнцем воздухе всплескивали звонкие выкрики и шлепки волейболистов: ребята играли поверх дырявой провисшей сетки. Кто-то из игроков с тупым стуком послал в воду такой мощный крученный мяч, что загорелая девушка в синем купальнике восторженно завизжала и бросилась за ним... Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой зыби голубоватых облаков, и бесконечно долго, увязая в песке, бежала к нему девушка... пока он не стал обреченно падать, падать, убили о мокрый песок в шаге от воды, мертво качнулся туда-сюда и замер.

Неподалеку от Маши группа мужчин и мальчишек сгрудилась над кем-то, кто сидел на дощатом ящике из-под пива, быстро передвигая что-то руками на доске, положенной на другой такой же ящик. Издали можно было принять их за филателистов, если б

не странное излучение опасности и азарта, исходящее от всей компании.

На две-три секунды над головами их воцарялась враждебная тишина, которая взрывалась огорченным матом, смехом, угрозами. Тогда на мгновение компания распадалась, открывая рыжие вихры сидящего и юркие озорные руки, будто готовые броситься наутек. И опять грозно смыкалась над ним.

Какая-то игра, подумала Маша, наверняка азартная. И значит — мошенничество, проигрыш, отчаянье, месть...

В прозрачной ультрамариновой толще с двумя ярко-красными заплатами надувных матрацев ослепительными искрами вспыхивало солнце. Дымчатое небо опускалось на горизонт нежной опаловой линзой. Сфера небесная и сфера морская двумя гигантскими зеркалами отражались друг в друге до самозабвенной обоюдобездонной голубизны.

Почему, почему от этих мерно бегущих к берегу волн, от ленивых тел на цветастых подстилках, от акварельно-чистой линии горизонта ее охватывает такая обреченная тоска, словно уже и деться некуда? Словно вот-вот захлопнется ловушка? Ведь никто и ничто не может заставить ее...

— ...и я уж тогда напрямиком в народный контроль, — возбуждаясь от собственного рассказа, бубнил дядька. — Та что ж это у вас, товарищи, в цехах творится!

— Извините! — глухо проговорила Маша. — Я... мне нужно идти.

Повернулась и пошла.

Резкий окрик, остервенелая ругань, стук перевернутой доски за спиной — и вот уже рыжий обогнал

Машу, улепетывая вдаль по набережной, трепеща на ветру синими сатиновыми бриджами.

Двое пацанов бежали за ним, высвистывая и выкрикивая что-то вслед...

\* \* \*

— Взглянуть вы, конечно, можете... — сказала рослая и плечистая директриса (просто гренадер какой-то! — сколько же материи ушло на ее белый халат?). — Взглянуть — это пожалуйста.

Разговор происходил в длинной проходной комнате, похожей на просторный коридор, с двух сторон запертый стеклянными дверьми. Это была и весовая и приемная — даже массажный стол тут стоял.

— Только не считайте нас учителями. Она ведь, собственно, не наша. Она пока непонятно чья. Сядьте вот здесь. Возьмите книжку, вроде как читаете. И не реагируйте особо. Я имею в виду — ничем не выдайте своего... Словом, не охайте! Держите себя в руках.

Минут двадцать Маша сидела в кресле, тщетно пытаясь унять дрожащее сердце, уставясь в открытую книгу — ей сунули какое-то медицинское пособие по лечебной гимнастике при церебральном параличе.

Рядом орудовала шваброй бойкая бабка — словно клюшкой загоняла шайбы под столы и кушетки. Она и сама была как огромная шайба — круглая, перекаченная: успевала и тряпку отжать и переброситься оживленным замечанием с медсестрой.

Та говорила с характерным прибалтийским акцентом:

— ...Ну не помню я их лиц, не помню! Я фсех детей по руккам-ноккам знаю. Они ше каждый готт

у меня электрофорез проходят. Я как увиттала эту ношшку со шрамом на колени, так сразу узнала — это же Игорекк! Здравствуй, Игорекк, как ты фырос! Ты мне его фнешность не описывай, скажи — какого цвета у него трусы...

Открывались и вновь закрывались стеклянные двери. Маша каждый раз внутренне съеживалась. Дважды прошмыгивали какие-то девицы в белых мини-халатах, по последней моде. Снова открылась дверь.

Маша подняла голову и чуть не застонала: плеснуло в сердце и отхлынуло, оставив ледяной ожог.

Скелетик в трусиках. Таких скелетиков за колючей проволокой Бухенвальда она видела однажды в документальном фильме перед сеансом в кино. Закрыла, помнится, глаза и головой привалилась к Толиному плечу.

Непонятно, как этот ребенок, чей пупырчатый стебелек позвоночника просвечивал сквозь покров кожи, стоял, передвигался... вообще держался на ногах! А уж рядом с огромной директрисой девочка выглядела комариком, которого можно дыханием сдуть.

Маша внутри вся обмякла и уткнулась в книгу. Перед взором не страница плыла, а огромные зеленые глаза скелетика и копна рыжевато-каштановых кудрей.

— Ну-у-у, — протянула басом директриса, — пойдем-пойдем, Аня-Анюта, ножками-ножками... — и, проводя девочку мимо: — Поздоровайся с тетей.

Не подняв головы, не в силах улыбнуться, двинуться, Маша услышала сухой шепоток:

— ...Дрась...

Когда за ними закрылась дверь, Маша поднялась — книга упала с колен — и с силой проговорила:

— Что происходит?! Как можно было довести ребенка до такого состояния?! Сколько она весит? Ведь это дистрофия, вы понимаете?!

— Это вы кому? — в замешательстве спросила прибалтийка. — Нам? У нас эта деффочка тней пять... Вы к ней какое имеете отношение?

Маша бросилась вон из приемной.

\* \* \*

Наутро она стояла за стеклянной дверью санаторной столовой, пытаясь высмотреть копну каштановых кудрей, которых здесь было много. Не видела ничего, в глазах мутилось. (По курортной поре не удалось вчера снять комнату, и ночь Маша провела в зале ожидания железнодорожной станции.) Воображала всякие ужасы: что, например, девочка умерла от истощения нынче ночью.

Потом спустилась на первый этаж к закрытому кабинету директрисы. Дождалась, когда в конце коридора появится гренадерская фигура в белом халате, преградила ей дорогу и проговорила с безысходной решимостью:

— Я возьму этого ребенка. Научите, как пройти формальности.

Затем часа полтора они сидели в кабинете, и Маша под диктовку по пунктам записывала все девять кругов ада, которые намеревалась в рекордный срок обжать со всеми документами.

Она всё не могла опомниться, застенчиво пыталась оставить на столе деньги, сунуть их в карман необъятного директорского халата, заложить между страниц какой-то учетной тетради в картонной обложке, то



и дело хватая увесистую рабочую руку этой женщины и умоляюще бормоча:

— Только бы кто посидел с ней, покормил, пожалуйста, хоть несколько ложек, но чаще, пожалуйста! — пока директриса резко не отчитала ее и обе они не расплакались, за что-то друг друга благодаря.

*Душевная соседка Шура*, которую Маша безуспешно разыскивала, все это время стояла за приоткрытой дверью директорского кабинета и, обмирая, слушала.

Когда стало ясно, что дело сладилось и эта не такая уж и молодая женщина захлопнула за собой все ходы и выходы, Шура крепко зажмурилась, с силой открыла глаза, уставясь на голубой квадрат окна в дальнем конце коридора, и вдруг с жаром неловко перекрестилась. Вдруг Шура поняла, что ошиблась *в направлении*, и похолодела: да не так, а так! Трижды сплюнула через левое плечо и столь же истовым замахом положила на широкую грудь крест правильный.

Она боялась скрипнуть паркетинной, кашлянуть. Боялась, что дело сорвется и девочку не увезут.

Но пуще всего — пуще смерти своей — она боялась самой девочки.

## 2

«...А хочешь, свет мой, зеркальце, расскажу тебе грустную историю поруганной любви?»

Не смейся, это настоящая любовь между миссис Кларксон, моей здешней хозяйкой, и диким гусем, что однажды упал к ней на лужайку.

Я готов исписать сейчас много страниц, потому что взволнован: последний акт драмы разыгрался вчера на моих глазах. Вернее, я сидел в своем сарае, который они величают *флигелем*, и дерут с меня приличные

деньги, и делал вид, что репетирую это супервиртуозное место в финале Четвертой симфонии Бетховена, где фагот должен прострекотать и закончить за кларнетом. А еще во второй части — сложнейший и пикантный флирт на пуантах тридцатидвухпунктирного ритма, что полностью опровергает слова незабвенного моего учителя Николай Кузьмича: «Фагот, пацан, — инструмент меланхолический...»

Но Шехерезада продолжает дозволенные речи.

Значит, года три назад роскошный белоснежный гусь упал на лужайку заднего двора, где у них гараж для трактора, сенокосилки, садовых инструментов и прочего барахла.

Время от времени семейство Кларксон использует эту постройку для очередного «гараж-сэйла» — рассказывал ли я тебе, что в прошлом году купил у них за доллар чашку севрского фарфора позапрошлого века? Ручка была отбита и безобразно прилеплена чуть не пластилином. Я отпарил, разъял, связал нежнейшим спецклеем, надышал, облизал... и она стоит у меня на полке, сверкая почти нетронутым золотым ободком по голубому полю... При нашей с тобой бездомности моя страсть к антиквариату выглядит идиотизмом.

Сейчас мне вдруг пришло в голову, что неутоленной любовью к изяществу настоящего фарфора я обязан деду. У него за стеклом буфета лежала с видом послеохотничьего изнеможения фарфоровая собака шоколадного цвета. Довоенная. Знаешь, почему? Штамп — знаменитый штамп ЛФЗ споднизу на брюхе — у нее был зеленым. После войны ставили уже фиолетовые. А еще было такое блюдо белое, с пионерами по ободку. Мальчик и девочка: мальчик в горн трубит, девочка в галстук с рукой-дощечкой, перечеркнувшей лоб. Дед уверял — двадцатые годы.

Я спрашивал: разве в двадцатых пионеры были? Он говорил: ну, тридцатые...

Ох, прости болтуна! Сам я был пионером, был. Точно помню.

Совершаем немислимую дугу: из Жмеринки пятьдесят второго в штат Канзас девяносто восьмого года. Век, правда, все тот же — вполне омерзительный, уга-сающий во мраке и позоре.

Итак, гусь: отстал от своих, притомился... потом выяснилось, что у него повреждено крыло.

Миссис Кларксон отбила его у соседских псов, выходила, вынырнула, и все лето он бегал за нею по пятам, как собака. Всем друзьям она рассылала фотографии, даже в местной газетенке появилась заметка с фото: «Миссис Кларксон со своим питомцем».

Осенью он благополучно отбыл по птичьей своей прописке.

Следующей весной прилетел с парой.

Гуси разгуливали по двору, словно домой вернулись, и видно было, как он с гордостью демонстрирует подруге свои владения. Точно как я впервые водил тебя по Рюдесхайму.

Помнишь нашу комнату в рюдесхаймском замке? А «ледяное вино» в каменном подвале? А пьяных болельщиков местной футбольной команды, горланивших народные песни? А железную ладью канатной дороги в тумане, откуда навстречу нам выплыл смешной лупоглазый альбинос в рыжей тирольке — тот, что (странно!) так тебя напугал?

Но гуси: следующим летом их прилетела целая колония. Они заняли весь двор, никому не давали пройти, шипели и гонялись за нарушителями границ — считали своей территорией. Все вокруг загадили пометом. Студентка-дочь прилетела с бойфрендом на

каникулы и, укушенная гусыней, улетела на следующий день. Сын вообще раздумал приезжать. Измученная миссис Кларксон еле дотянула до осени и, надо полагать, заказала благодарственный молебен в своей церкви, славя милосердного Господа в честь сезонного освобождения. (Она вообще очень набожна; в гостиной висит портрет ее прадеда с трогательной надписью по низу полотна: «Межи мои благочинны, и стезя моя послушна мне».)

Нынешней весной она уповала уже не на высшие силы, а на себя, и к романтической поре птичьих перелетов готовилась загодя. Наняла в питомнике соседней фермы двух волкодавов, которые, завидев огромный белый шатер опускавшейся на двор гусиной стаи, сорвались, как торпеды, и, яростно дрожа, гоняли бедных птиц до самого вечера, не давая приземлиться.

Гуси метались над лужайкой, как порывы белой метели, снежная буря висела над головой и шипела, и клочкотала... Надо было видеть это сражение! Воздух дрожал от гула: обескураженные, разгневанные крики гусей, визг и захлеб охотничьего лая и рыка!

А из окна кухни на битву глядела, глотая слезы, госпожа Кларксон.

Что-то было не так в ее ухоженном, упорядоченном мире. Что-то надломилось.

Даже мне стало не по себе, и не только потому, что невозможно в фагот дудеть, когда воздух вокруг вибрирует в страшной какофонии. Просто грустная эта история почему-то напомнила мне — угадай, что и кого?

Странная штука наше воображение, и еще более странная — память наша.

Отчего люди в американской глубинке часто напоминают мне гурьевских соседей? Отчего это? Ведь

тут — благодать и комфорт в каждой кнопке, а там, в городе моего детства, — песчаные бури, тяжелая мутная река Урал, степь да степь кругом, жирная грязь, карагачи, джида, бедные палисады под окнами. Были еще огороды у реки, где народ сажал картошку (так и говорили: «Едем на огород!») — и где буйно рос паслен, по-нашему — «вороняшка».

Да знаешь ли ты, что такое «вороняшка»? Это сорняк такой, мелкие кустики с черными приторно-сладкими ягодами. Растение помойное, приличным людям, говорила мама, есть его нельзя. Но я, после гибели отца мгновенно ставший беспризорником, убежал к соседям Солодовым есть любимые пирожки с «вороняшкой». (Их жарили на хлопковом масле, подсолнечное берегли.) Солодовы меня жалели: так и не раскрытое убийство моего отца, главного инженера гурьевского нефтеперерабатывающего завода, многие годы будоражило всех соседей и бросало жалостливый отсвет на сироту.

Солодовы потчевали меня пирожками с «вороняшкой» от пуза.

Семейство было забавным: запыленным, сложно-составным, горластым, драчливым — каждый со своим особым характером, даже самые мелкие дети. Я дружил со средним, Генкой, — вруном, разбойником и прохвостом. Сейчас он монах в Валаамском монастыре, что всегда славился своим строжайшим уставом, и я не вижу тут никакого противоречия.

Папка их, дядя Вася, родом из какой-то мордовской деревни, был большим партийным начальником. Мужик башковитый и честный, он крепко выпивал. И тогда гонял все семейство. Жене кричал: «Лёлька, дура ты набитая, в высшей степени!» В детей метал костылем, как пират Сильвер, и всегда попадал. Од-

ноногий, одержимый во всем, он решил насадить вокруг дома настоящий фруктовый сад и каждый день с редкостным упорством претворял мечту в жизнь: вытаскивал в сад лопату, стул, садился на него и единственной ногой копал яму под очередное фруктовое дерево. Посадил сорок семь плодовых деревьев! Тебе, дитю благодатной украинской почвы, этого подвига не понять.

Дядя Вася его совершил.

Женат он был на тете Лёле, дочери врага народа. Этого поступка осознать и оценить ты уже, слава богу, не можешь, да и не надо.

В молодости, со своей золотой косой, с нестерпимо-синими глазами, тетя Лёля была такой красавицей, что партийный выдвиженец дядя Вася забыл про ум, честь и совесть нашей эпохи и взял ее со всем выводком младших братьев и сестер. А также со старой матерью, о которой надо бы рассказать отдельно и опасно. Капитолиной Тимофеевной ее звали — сухонькая твердая старушка чуть не дворянских кровей. Это с одной стороны. С другой стороны, между детьми и внуками считалось, что она неграмотная. Это противоречие в нашем детстве странным не казалось, мы о нем просто не думали. А сейчас я уверен, что внезапная неграмотность настигла Капитолину Тимофеевну тогда, когда трое старших ее, взрослых детей — после расстрела отца, — отказались от матери *через газету*, и она с тремя младшими осталась на улице. Сыграло ли в этом роль особое отвращение к советскому печатному слову, или то был обычный страх... сейчас уже кто ответит?

Была она строга и, если что не по ней, молча вцеплялась в волосы и таскала жертву по всему дому. Обшивала — неистовая труженица — всю семью.

Все умела: брюки, пальто, какие-то полотна-гобелены с портретом Пушкина (довольно похожим, но слишком изысканным по цветовой гамме: темно-зеленые водоросли бакенбард — все шелковое мулине, — вдоль изможденных щек цвета какао).

Так вот, дядя Вася, вообрази, не побоялся взвалить на себя весь этот опасный выводок. Причем с суровой тещей сражался всю жизнь, а когда она умерла, оплакивал ее настоящими слезами, запил даже, головой о стену бился: другой такой, говорил, больше не найду.

Иногда, заигравшись до слипания век, я оставался ночевать у них на кушетке в большой комнате — хотя вполне мог перебежать дорогу до своего дома. Но мама после гибели отца так и не очнулась, ее оглушила странная тягучая задумчивость о своей доле. Возвратясь с работы в холодный неприбранный дом, она валилась на диван и лежала часами, вяло грызя яблоки из тех, что каждый год привозил из Жмеринки дед. Вяло глядела в окно и почти со мной не разговаривала. В наши дни это назвали бы тяжелой депрессией и месяца за три вылечили бы, а тогда все соседки осуждали ее за нерадивость и считали плохой матерью.

Так что время от времени я оставался у Солодовых на ночь.

Вспоминаю свои пробуждения под гимн Советского Союза из радиоточки...

Сквозь сон едва приоткрыв глаза, я видел простоволосую тетю Лёлю. Как бессловесная жертва, что мягким горлом ожидает лезвия ножа, она — дородная, по-утреннему истомная, в байковом лиловом халате — сидела на стуле, откинув голову: агнец в ожидании стрижки золотого руна. Позади нее стояла маленькая бабушка Капитолина Тимофеевна и широкими замахами разгребала эти невероятные Самсоновы волосы.

Сначала месила их руками, борозды взрыхляла, проводила глубокие рвы. Затем гребнем натуральным, десятипалым, отделяла, разбрасывала, перекладывала на стороны. И, наконец, плела, крутила жгуты, косу вылепляла, скульптурную косу. По завершении тяжелых этих работ широким замахом водружала дочери на плечо лоснистого золотого удава.

Я с замиранием сердца следил сквозь полусмеженные веки за этой церемонией. Почему-то мне, мальцу, она казалась таинством интимного свойства.

Годы спустя, пробуждаясь рядом с какой-нибудь женщиной, я убеждался: все, что связано с волосами, у женщины полно непостижимой тайны.

Однако и разболтался же я.

Плохо представляю, когда к тебе попадет это письмо, и, уж конечно, не надеюсь, что ответишь. Во всяком случае, твое молчание предпочитаю твоим инопланетным зеркальным письменам, что всегда накрывают меня каким-то гулким метельным ужасом. Когда же мы свидимся?

До октября у меня контракт с оркестром в Де-Мойне. Отсюда ездить далековато, но я прижился в этом заштатном сонном городке, что существует только на областной карте. Липы здесь невероятной благодати, да и лень переезжать. На репетиции ездю на машине или, если охота поспать в пути, на автобусе — два часа, остановка в Канзас-Сити.

А тут, дитя мое, на Среднем Западе, публика самая захолустная. Особенно автобусная, неимущая. Вот тебе вчерашняя картинка. Черный бродяга: дикий конский глаз, великолепный густой баритон, влажный, хрипатый, безадресный смех в обрамлении крупных белых зубов. Прикид безобразный — драные джинсы,



линялая клетчатая рубаша поверх засаленной водолазки эпохи семидесятых, бурые кроссовки.

И все два часа он, не умолкая, говорит на этом их, знаешь, черном диалекте, который и понять-то невозможно. Говорит пылко, дружелюбно, в пространство, словно обращается к невидимому собеседнику. Остальные пассажиры сидят, уставившись в окна, заткнув уши наушниками плееров.

А на короткой остановке, разминаясь после долгого сидения, он упоенно танцевал на тротуаре под никому не слышную музыку: с бумажным стаканчиком кофе в одной руке и зажженной сигаретой в другой. Голова как на шарнирах, плечи, руки, бедра и колени одновременно кругообразно вращались, будто снова и снова он тщетно стремился обнять, обхватить кого-то невидимого...

А когда я обниму тебя, скажи на милость?

Местный оркестр с его мелкими сварами мне надоел, и после октября я контракт возобновлять не стану, подамся куда-нибудь поближе к тебе. Профессор Мятлицкий уговаривает переехать к нему в Бостон. Представь, в его полных девяносто он строит планы гастролей и мастер-классов лет этак на десять вперед. «Саймон, не будьте идиотом, — говорит он. (Мое имя профессор произносит на здешний лад, и мне это даже нравится, есть нечто аристократическое в этом «Саймон». Не то что плебейское «Сеня», которое всю жизнь сопровождает меня дурашливой припрыжкой.) — Что вам в тощей Европе, Саймон, — медом намазано?»

Намазано, отвечаю я, и каким медом! Так что скоро примусь тебя разыскивать — выгляни, пожалуйста, дай знак.

Где ты сейчас, моя зеркальная девочка? Во Франкфурте? В Монреале? В Берлине? Что за фокусы-флиртотки с миром за гранью бытия сочиняешь? «Огненное кольцо»? Ящики с исчезновением влюбленных? Зеркальные шары с летающими головами?

Кто смотрится в тебя, моя радость, кто в тебе отражается?

Эти вопросы считай риторическими. Надеюсь, ты не хранишь мне верность? К черту верность тела! Только возвращайся ко мне время от времени. Только возвращайся, бога ради...»

### 3

— Старый лабух Сеня, вот кто ее до чертиков любил. Да и она вроде его любила. Ну... если и не любила, все же была привязана. Он ей письма писал куда-то «до востребования» — была в нем такая старомодная церемонность. Никогда не знал, дошло письмо или нет — она ведь не отвечала или писала записку в несколько слов этой своей абракадаброй, так что откроешь письмо, стоишь как идиот, вертишь листок и так и сяк, вверх ногами переворачиваешь, а все никак не поймешь — что это. Как шифр какой-нибудь шпионский! И такая досада, такая злость возьмет! — так и смахнул бы с листа эти узоры, как вот паутину с зеркала! У вас в Интерполе наверняка есть спецы по расшифровке такого почерка.

Но Сеню это не трогало. Его ничего в ней не смущало, ничего не раздражало.

К примеру, она всегда гнала машину — не говоря уже о мотоцикле — с душераздирающей скоростью. По любой неизвестной дороге! Никто этого вынести не мог, кроме Сени. Он всегда уступал ей руль и всегда сидел рядом с расслабленной улыбочкой, кретин

кретином: будто катит в ландо по Булонскому лесу и приподнятым цилиндром приветствует знакомых баронесс.

И он совсем ее не ревновал. Ее случайные романы его не касались. Их обоих вообще ничего не касалось. Нет, правда! Они были... ну... как бы это... закапсулированы в своей любви. Он смотрелся в нее, как в зеркало, не отрываясь. Хотя почти всегда жил от нее очень далеко и был гораздо, гораздо старше. Такая странная связь...

Между прочим, я ведь сразу узнал ваш голос — через столько лет. Удивительно! Как только услышал в трубке: «Владимир?» — во мне как отщелкало: Ин-терпол, следователь Керлер.

Можно вопрос, господин Керлер? А почему это дело опять ворошат? Я так понимаю, что его закрыли. Столько лет прошло. И Сени уже нет с его задумчивым фаготом...

...Ничего, что я закурю? Слава богу, есть еще в Монреале заведения, где хоть на террасе можно курнуть. С ума они все походили тут, на Западе... Вообще я вам благодарен, что вы согласились допросить меня на воле... Шучу, шучу! Просто под пиво и сигаретку разговор как-то шустрее идет. Хотя о ней... ну, вы понимаете... о ней мне всегда трудно говорить. К тому же я давно все рассказал, еще на тех, первых допросах.

...Да нет, красивой она не была. Обычная внешность: нос как нос, лоб как лоб... Глаза были яркими, да. И тревожными, странническими: будто она всегда на чеку, налегке, на взлете... Но в нашей профессии до глаз дело не доходит. Нас снимают так, чтобы виден

был трюк, а не лицо. Лицо каскадера в кадре — это загубленный трюк.

Ты должен дублировать актера, чтоб зритель не заметил подмены. И вот в этом она была гениальна! Тело у нее было безумно талантливое. И сумасшедшая реакция: при обеих занятых руках успевала поймать падающий стакан и поставить на место. Мне один знакомый, он физиолог, объяснял, что это люди такие, переученные левши: у них другое распределение функций в полушариях мозга. Название есть научное: ам-би-декст-ры. И, мол, недавно австралийские исследователи выявили, что такие люди быстрее оценивают ситуацию и быстрее принимают решения, и в спорте, и просто в жизни. Что вы улыбаетесь? Я чепуху порю, да? Так я ж в этом ни черта не понимаю. Говорю, что слышал. Да и сам бывал свидетелем.

Просто объясняю вам — ее природа создала по какому-то спецзаказу. Идеальное существо для прыжков, сальто, растяжек и прочих трюков. Что б она ни делала, на нее все время хотелось смотреть. Уводила взгляд за собой и дальше вышивала им любые узоры. И сложена была... не как эти глянцевые порнозвезды со вздутыми грудями. Наоборот: она была невысокая, такая... пацанистая... и очень соразмерная, знаете, каждая часть тела пригнана к другой самым безукоризненным образом. Двигалась — будто откликалась на неслышный зов. Словно всегда начеку. Даже когда что-нибудь увлеченно рассказывает. Это как бывает: милый тебе гость уже собрал чемодан, надел туфли, куртку, ожидает такси. И разговор еще оживленный, и хохмы, и смех... а он между тем прислушивается — не машина ли там, у подъезда, сигналист? И у тебя как сожмет сердце! Потому что... увидимся ли еще?

...Черт, последняя сигарета... Спасибо, я курю только «Дю Мурье»... у них тут должны быть.

*Месье, силь ву пле, ан паке дё Дю Мурье э дё Фан дю Монд!..*

А знаете, здесь приятно. Мне казалось, тут геи тусуются. Нет? Да мне все равно, геи, не геи. Они тоже люди... Взять Женевьеву: я ее уважаю. Вы ведь допрашивали ее, о'кей? Вы ее видели. Да, она довольно крепко закладывает, но я о другом: вот человек, который перевернул судьбу. Ту, что ей на роду была написана. Ну, посудите — девочка из захолустной деревушки на побережье Бретани. Ветра, дожди... Отец-рыбак, заработки плевые, по несколько дней в море. Мать в каком-то баре спиртное рыбакам продает. Пятеро братьев и сестер, и такая католическая закваска, что ею можно стены конопатить — ни черта человеческого не пропустит. И что? Когда Женевьева поняла, что ее влечет... ну, другое... что она — другая... порвала с семьей, уехала в Канаду, скиталась, бедствовала... и в конце концов победила. И без нее «Цирк Дю Солей» трудно представить. Она — форматор от бога, и фотограф от бога, и живет как хочет — вот что я хотел сказать. И для этого тоже силы нужны, знаете, немалые... Ну, я отвлекся, извините.

Насчет нашего ремесла. Конечно, мы часто работали на картинах в одной команде... Русских каскадеров на Западе любят, часто даже предпочитают своим: люди мы безотказные, чокнутые — что просят делать, то и делаем. Надо тебе, чтоб я головой в бетон воткнулся, — я воткнулся. Знаменитая русская удаль,

---

<sup>1</sup> Месье, прошу вас, пачку «Дю Мурье» и «Фан дю Монд» (*искаж. фр.*).

а точнее, русское безумство. Так что, конечно, приглашали нас и в зарубежные картины, в разные клипы...

Что значит — «хорошим каскадером»? Она была лучшим! Лучшим, понимаете? Она — единственная женщина в Европе! — могла ставить мотоцикл на переднее колесо!.. А вот что это значит: мотоцикл разгоняется по прямой, затем резкое торможение передним колесом. Главное, чтобы дорога была сухая и мотюзом не пошел. Когда тормозишь, от резкого рывка гонщика вперед поднимается зад машины, и надо держать равновесие и определенный наклон, чтобы не полететь кувырком через руль и шею не сломать к чертям собачьим. Женщинам это физически очень тяжело. Нет такой массы, такой силы рук. Понимаете? А эта девочка умудрялась!

Господи, далась вам ее дисквалификация... Мы с вами уже обсуждали... Понимаете, вот психолог один американский, Марвин Цукерман, считает, что есть люди, чей организм постоянно требует стресса, выброса адреналина. Таким жизнь не в жизнь, если каждый день их хоть разок основательно не потрянет. Наркотическая зависимость. Привычка к электрическим разрядам страха. И я вам скажу: в каскадеры идут именно такие. Ну, посудите — станет нормальный человек рисковать собой, чтоб какой-нибудь хлыщ-актеришка красовался вместо тебя в кадре крупным планом до и после твоего трюка, типа — именно он такой крутой?

Не-ет, это люди... знаете... Тут нужна очень крепкая нервная система. Прыжки, автомобильные, мотоциклетные, конные трюки, фехтование — еще туда-сюда, тут на свою реакцию, на выучку, на тело свое

надеешься. А вот огонь... вода... это все нешуточные стихии...

Да, она тогда отказалась гореть, это правда. И сорвала съемки. А вы знаете, как ставятся трюки с огнем? Каскадер надевает спецодежду. Раньше она была из асбеста, потом его признали вредным, стали делать из тулена — это материал такой синтетический, огнезащитный якобы... ну и фигуру не уродует. А под асбестовый или туленовый костюм поддевали подкладку из тонкого войлока, он защищал. Так вот, костюм надевают поверх спецодежды, обмазывают напалмом... Напалм? Да нет, это костная мука, растворенная в бензине. Типа студня. Мажут в основном спину. Человек бежит, пламя оттягивается назад... Эффектный кадр. Ну вот... А есть полное горение. Тогда каскадер надевает маску из огнезащитного материала, с дырочками для глаз и для дыхания. Видите ли, когда человек горит...

*Экскюзэ-муа, месье, пурье-ву бесэ сет мюзик дё мерд?<sup>1</sup>..*

...Так вот, когда человек горит, у него может начаться паника. Например, ветер не в ту сторону, тосе... Ожог. Ну и вот, бежишь, значит, бежишь-горишь себе спокойненько... Снято! — падаешь плашмя на живот, на тебя набрасывают брезент или одеяло, но не водой гасят, а то может быть паровой ожог. Сбивают пламя огнетушителем. На площадке для этого ошивается парочка страхующих. В тот раз, когда ставили сцену с Жанной д'Арк, был один страхующий. Один! И он неправильно ей маску надел. Полную маску, понимаете? Господи, да вы хоть вдумайтесь, что это такое!

---

<sup>1</sup> Простите, месье, нельзя ли сделать потише эту дерьмовую музыку? (*искаж. фр.*)

...Так, на чем я остановился?.. Вот именно! Пламя поднялось, она стала задыхаться, сорвала маску... После этого у нее остался такой тонкий розовый шрам вдоль левой скулы. Она его запудривала... безуспешно...

Да, но дисквалификацию она получила не тогда, а позже, года через три.

Я был там, на этих съемках.

Мы работали в команде, пару трюков должны были выполнять вдвоем. Не помню, как называлась в русском прокате эта картина. Итальянский режиссер... имя забыл... боевик, погоня... полное говно. Я никогда не читаю эти идиотские сценарии. Тебя приглашают на две драки и переворот машины, ты приехал, подрался, перевернулся, отработал, получил гонорар — и чао-чао! Короче, она должна была прыгнуть со скалы в этот их долбаный Неаполитанский залив в опасном месте, и надо было не промахнуться и войти в узкую расщелину между двумя скалами.

Ну, мотор, съемка, все на местах, каждая минута стоит хренову тучу зелени... Она подбежала к краю и — замерла. Застыла. Стоит как вкопанная. Вдруг повернулась и пошла себе прочь.

...Не знаю!.. Не уверен, что испугалась... Понимаете, обычно, когда каскадеры выполняют трюки, они близки к истерике. Говорю вам, не знаю, что ее остановило. Будто рычажок какой у нее внутри повернулся, и она в одну секунду решила покончить с этим делом раз и навсегда. У меня ее лицо перед глазами: такое... освобожденное, понимаете? Наверное, такие лица у оправданных в суде... Идет она, глаза зеленые — аж синие, как вода в этом самом заливе. Режиссер орет, продюсер в обмороке, актеры злые как собаки, съемка сорвана... А она свободна, как ветер... нет, как море!



С тех пор она зарабатывала на жизнь постановкой зеркальных шоу. Ставила освещение, придумывала конструкции разных зеркальных механизмов... Например, для самого известного казино в Берлине, «Европа-Центр» на Брайдшайдплатц, придумала такой шар, назвала его «Шар-невидимка». Сверху — фасеточное строение, пластмасса с напылением... А внутри... вы не поверите. Висит в полсцены гигантский шар. Дистанционным пультом открывается — отъезжает в сторону — прямоугольный сегмент в бок, а внутри абсолютная, крошечная такая бархатная тьма. И если сунешь внутрь руку — рука исчезает. Эффект космической «черной дыры». Она объясняла, я мало что понял. Ну, не силен, никогда не был силен в науках. Понял только, что идея в замкнутой самой на себя системе зеркал.

И знаете, она была чертовски востребована. Много работала во Франкфурте, на известный «Тигерпалас», и, помимо прочего, была у них основным консультантом по освещению. Она во всем этом оборудовании, в прожекторах, световых сканерах, дихроичных светофильтрах и прочей абракадабре как бог разбиралась.

Зарабатывала хорошо. Непонятно только, на что деньги улетали. Не удивлюсь, если *улетали* в буквальном смысле, она их распихивала по карманам джинсов, куртки... Хотя, помню, кое-кому каждый месяц посылала приличные суммы. Например, Нинке, бывшей партнерше по номеру. Я имею в виду — по нашему цирковому номеру. Она считала, что виновата перед Нинкой, — мол, та из-за нее потеряла работу и осталась за бортом. Я ей говорил — ты что, сдурела? Нашла пенсионерку тоже!.. Нинка — здоровая баба, давно уже в другом номере процветает. Нет! Посылала

и посылала — всю жизнь. Или этому... старому придурку, который башку-то ей своими зеркалами еще в детстве заморочил. Ему тоже посылала в Индианаполис... хотя он там отлично жил-поживал на крепком американском бульоне... Короче, она всегда плевала на то, что называется материальным благополучием. Работала много, это правда.

У нее жизнь была расписана года на три вперед. Я никогда не знал — где она в данный момент обитает, куда мчится на своем мотоцикле. Вообще она своеобразно жила — то там, то сям, то здесь, то вообще нигде. В любой стране снимала в рент мотоцикл, либо мощный спорт-байкер, если надо было по трассам передвигаться, либо круизёр, маневренный, если в городе. И никакого багажа: рюкзачок, в нем пара белья, вечный блокнот для ее расчетов... Вопрос гардероба решала просто: заезжала в ближайший магазин, покупала очередной зеленый или синий свитерок, майку — смотря по погоде... А потом оставляла это где придется — в номере отеля, в «гнезде» у Женевьевы, или бросала на скамейке — для нищих... Я не знал человека, более равнодушно-го к себе, чем она. Заботилась только о байкерском прикиде, но и то — по необходимости. Мотоцикл, понимаете, суровое дело — мы скорость развиваем далеко за двести, а это значит, что любой майский жук, если в физиологию врежется, может выбить тебя на землю. Так что косуха, надежные ботинки, перчатки, шлем или каска — это все без дураков должно быть...

В последний раз мы сидели тут неподалеку, в «Фигаро», месяца за два до... ну, до этого. И она была в отличном настроении, рассказывала, что на будущий

год ее пригласили поставить несколько зеркальных номеров в здешнем казино «Де Монреаль», на время салютного фестиваля... Говорила, что специально для них придумала грандиозный трюк, завязанный на эффекте салюта. «Володька, представь, — говорила, — два гигантских естественных зеркала: черное зеркало неба и черное зеркало залива...»

Да-да... Она пыталась мне объяснить механизм фокуса, что-то с насаженными на окна и крышу вогнутыми зеркалами, которые отражают салют и то, что происходит в зале, и все это каким-то образом отсылается в небо, где всплывают гигантские миражи: люди невероятных космических размеров во всей этой салютной свистопляске.

Признаться, меня никогда не увлекали ее зеркальные заморочки. Не помню ничего конкретного из объяснений... Я просто смотрел, как она черпает ложечкой мороженое и кладет на оранжевый язык, и смешно так посасывает кончик ложки. Как ребенок...

Господи, Керлер... как ваше имя, черт возьми? Роберт? Я ведь отлично помню ее пятилетнюю, Роберт! Вы знаете, мы ведь с ней киевляне, с седьмого класса учились в одной школе... А еще раньше моя мать раза три убиралась у них в доме. Однажды взяла меня с собой. Отец тогда опять запил, а садик был закрыт на очередной карантин.

Говорила мне: «Ты, Володечка, рота замкны у людей, так культурненько мовчы, як нимый».

Мы-то жили в такой бедноте... ужас вспомнить! Папаня не слишком церемонился с семейным бюджетом. Однажды зимой пропил мою цигейковую шапку. А у нее-то отец — военврач, полковник, работал в госпитале на Печерске, да не просто, а заведовал ин-

фекционным отделением. Сильный такой, огромный мужик, очень представительный. Мать тоже, Марькирилловна... операми-симфониями в музшколе командовала...

Они жили на бывшей Жилианской, в дореволюционном доме с такими витыми чугунными оградками на балконах. И квартира большая, с телефоном, с таинственным зеркалом в прихожей... Для меня это было, как... как потусторонний мир! Помню, входим мы. Напротив, чуть сбоку, — зеркало на стене, коридор отражает. Кто по коридору идет, сначала в зеркале появляется, потом уже лично к вам выходит. И вот выбегает из огромного этого зеркала навстречу нам егоза: рот зубастый, глаза горят, хохочет-заливается. Бегает туда-сюда по коридору и топочет, топочет! Будто ей плевать на благочинность.

А я был смирным мальчиком. У нас с папаней разговор короткий: сиди тихо, говно, и лучше за шкафом. Я поэтому очень удивился такому грохотанию. И что ее не колотят за это. Моя мать ей говорит: «Золотко, дытынко, куды ж ты бижыш? Взмокреешь, як ота гуска!»

А та заливается: «Это не я, это моя радость хочет бегать!»

...Я, знаете, может, и всю свою жизнь перепыхал, потому что она была перед глазами. Свободная, дикая... другая! Может, я так стремился избыть свое пугливое детство, выкорчевать его из себя, раздавить, как червяка...

Да... Смешно, а я ведь так разволновался, когда вы позвонили и предложили встретиться... Подумал: вдруг что-то нашли, вдруг... какие-то новости. Хотя что уж там — четыре года прошло, чему там найтись...

Но я, убейте, не понимаю, не по-ни-маю!!! Положим, тело исчезло... Но мотоцикл, мотоцикл ведь не рыба, чтоб в океан уплыть! А?! Он же, блядь, желе-е-езный! Его что — рыбы съели?! Дельфины его одолжили — покататься?!

...Извините... Все в порядке. Месье... не волноваться! Все о'кей... все о'кей... Бывает... Потерял управление...

Так надеялся услышать от вас что-нибудь новое... А пиво — коварная штука, господин Керлер... господин Роберт Керлер, это просто удача, что вы по-русски говорите. Прямо не знаю, что бы я иначе делал... Волком бы выл... Да, а пиво... его пьешь, как воду, а потом оно тебе душу выворачивает... Лучше уж сразу чего покрепче хлобыстнуть.

Я вот точно знаю, что сегодня с этого пива хрен усну. Буду лежать как бревно, в темноту пялиться, а закрою глаза — она, пятилетняя, по коридору топчет, прямо из зеркала мне навстречу выбегает: лоб вспотевший, рот зубастый, и от хохота аж звенит вся:

— Это не я, не я! Это моя радость хочет бегать!

#### 4

Вот крупным планом две игрушки.

Первая: Дюймовочка. Таинственная пленница железного цветка. Для того чтобы вызволить ее кисейный образ из темницы, надо нажимать и нажимать до онемения большого пальца пятачок металлического шприца. Пружина приводит в действие круг, лепестки на нем раскрываются, начинают с натужным жужжанием вращаться быстрее, быстрее, сливаясь в мерцающую пелену. А сквозь нее видна сидящая внутри малютка из невыносимо грустной, несмотря на счастливый конец, сказки Андерсена...

Она ждет, подогнув невидимые озябшие ножки под красной юбкой. Ведь только прекратишь давить на пружину, как цветок вновь скрывает узницу. Скорее, скорее освободить ее! Отогнуть железные, тупо захлопнутые лепестки!

Но сломанный цветок являет бездарно раскрашенную болванку пластмассовой куколки. И сколько ни ломай очередную купленную папой игрушку в надежде обнаружить внутри цветка настоящую Дюймовочку, там оказывается все то же: пшик, дешевка.

Вторая игрушка — акробат на турнике. Приводится в движение — как швейная машинка Полины — поворотом бокового рычажка. Синий костюм, целлулоидная физиономия с идиотской, но отважной улыбкой. Этот молодчик открыт всем и каждому и готов крутиться с утра до вечера, пока у тебя рука не устанет. Рычажок неумоимо повизгивает. Акробат поднимается на вытянутых руках, кувырк — и он уже под перекладной и вновь готов к рекордам.

— Нюта-а-а, ты б трошки видчепылася вид тои железяки визгучей!

Это новая нянька Христина, племянница дворничихи Марковны. Она приехала из Пирново и села Марковне на шею. Нюта представляет, как, выйдя из вагона, Христина мгновенно вскакивает верхом на шею Марковне и погоняет, погоняет, свесив толстые ноги ей на грудь.

Христину папа придумал позвать, чтоб она подменила «нашу дорогую Полину», пока той режут в больнице живот и достают оттуда какие-то камни.

Христина огромная снизу, с маленькой глупой головой. Как будто ее тело поторопилось отрастить себе разлапистые ноги, хватистые руки, запастись увесистой задницей... А приглядывать за всем этим богатым

хозяйством посадили на плечи плоскую кочерыжку с туго завязанным куколем на затылке и никогда не закрывающимся ртом. И вот этот рот извергает певучую глупость на том языке, который Маша называет суржиком.

— Марькирилна, та чого ж вона усэ ливою мастачить? У нэи права рука, бачу, ни до чого нэ годна.

Интересно — вот Полина вроде умная и книжки так быстро умеет читать, чего совсем пока не умеет Нюта. Спрашивается: к чему ж она, дура старая, камней наглоталась?

— Нюта — левша, ничего не поделаешь, Христина. Такой ребенок. Я попрошу вас не акцентировать на этом внимание.

Ма уводит Христину в кухню — якобы дать хозяйственный наказ. На самом деле будет сейчас шепотом учить, как ей, Христине, вести себя с «ребенком». Ребенок сложный, неуправляемый, неспособный сосредоточиться. Вернее, способный сосредоточиться сразу на пяти занятиях. Сейчас Нюта продолжает крутить визгливую ручку игрушечного турника, одновременно попинывая левой ногой тряпичного Арлекина с дивной красоты фарфоровой веселой головой.

Он куплен недавно в Центральном универмаге, на углу Крещатика и Ленина, в отделе «Игрушки». Костюм его, папа сказал, — «венетийский», — из двух половинок: одна — темно-синий атлас, другая — желтый бархат.

И это привело девочку в страшное возбуждение.

— Неправильно! — сказала она Маше. — Купи наоборот! Синий — на другую сторону!

— У вас есть наоборот сшитый? — спросила Маша сдобную и румяную, как кукла, продавщицу. — Моя

дочка почему-то хочет, чтобы синей была левая половина.

— А какая разница? — раздраженно спросила румяная кукла. — Берите этого, смотрите, какой гарный хлопэць!

Но Нюта вырвала руку из Машиной, затопала ногами, исступленно, горько повторяя:

— Неправильно, неправильно!!!

— Балуют детей, потом сами всю жизнь плачут, — сказала продавщица с осуждением.

Арлекина все же купили. Зачем?! Вывернутый наизнанку лгун, притворяга, оборотень! Еще допытаться надо — кто и для чего его сюда *прислал*. Бить его, пока не признается!

— Нюточка, я на работу пошла! — кричит из коридора Маша. Она уже в плаще и шляпке.

— Иди... — не оборачиваясь, девочка продолжает зафутболивать Арлекина под диван.

*Она никогда не звала Машу мамой, хотя Анатолию в первый же день радостно и легко сказала «папа!». Иногда бывали периоды, когда она говорила Маше «Ма», — как тысячи детей зовут своих матерей. Но та не обольщалась — это был всего лишь первый слог ее имени.*

Дверь хлопает, Христина основательно и последовательно запирает ее, дважды проворачивая ключ, вешает цепочку и внимательно осматривает внушительную дубовую поверхность — не пропустила ли еще какой замок, запор, задвижку? Через минуту возникает на пороге детской.

— Та-а-ак, — отмечает она. — Чи тут банда Петлюры гуляла, чи дивчина живэ?



Не получив ответа, с минуту наблюдает за действиями ребенка.

— Значить, не трамвируваты вас, Анна Анатольевна... — И вдруг говорит другим голосом: — Йды-но сю-ды, уёбище!

О, вот это уже интересно! Христина вдруг заговорила тем чудным, обворожительным языком, каким общались «шоферюги с молокозавода». Назывался он: «отойди-немедленно-от-окна-не-слушай-эту-гадость!»

Когда ранним утром охранник разводил тяжелые створы грязно-серых железных ворот молокозавода и десятки желтых цистерн с рисованным красным тавром на боку выползали со двора на улицу и толпились в заторе, протяжно и восторженно, как коровы, мыча, — тогда окрестности улицы имени борца революции Жадановского — бывшей Жилианской — оглашались цветистыми, как салют, взрывами особого шоферского разговора, непонятного, но очень решительного.

— Йды-но сюды! — повторила Христина. — Ликуваты тэбэ будэмо... Штопать-перелицьовувать... От кажи: ты, Нюта, умна чи дура?

— Умная, — убежденно отозвалась девочка. Христина свернула ладонь трубочкой, поднесла к своему круглому куриному глазу и взгляделась, как в бинокль.

— Нэ видать. Уси умны правой рукой вещи хапають, а ты — левою... Та ще нэ подступысь к тебе, то нэ кажи, це нэ робы... А ну давай грать! — крикнула вдруг. — Така ж вэсэла гра! Стий, не рухайся! Зараз будэ в нас полчеловека!

Потряхивая чемоданным задом, сбегала на кухню, приволокла несколько вафельных кухонных полоте-

нец, вытащила из подола необъятной юбки три лошадиного размера английские булавки.

— Стоять, Буренка!

Нет, с Христиной явно куда интересней, чем с Полиной. Та только водит Нюту гулять в Жилянский садик и чинно раскачивает тяжелую медленную ладью железной качели, не позволяя разогнать ее до небес. Еще они в Липках гуляют, в парке Ватутина — там и вправду липы растут, огромные, пахучие, весной на ветках появляются маленькие зеленые пропеллеры, липкие на концах. Можно их раскрыть и наклеить на нос.

Еще Полина всегда пристаёт со своим дурацким чтением вывесок. И сама протяжно, как качель, раскачивает их голосом: «Тка-ны-ны»... «Про-до-вольчи то-ва-ры»... «Рэ-мо-о-онт взут-тя»... — идиотское занятие, если учесть, что дома все равно говорят на другом языке — на русском. И сама Полина говорит на русском. Тогда зачем вообще смотреть на эти вывески?

Кроме того, она терзает Нюту смешной тарабарщиной, «немецкий язык» называется. Все потому, что Полина — *бывшая фребеличка*. Нюта сначала думала, что это вроде *истерички* — когда Нюта устраивает *тара-рам*, Полина в сердцах обзывается этим словом. Но, оказывается, когда-то, миллион лет назад, жил немецкий профессор Фребель (тощий селедочный старичок с кустами редкого мха на вдавленных щеках), который учил *девиц* педагогике — ну, это чтоб дети не баловались и не ругались шоферскими словами. Так вот, *девицы-фребелички* (целый строй обтянутых рюшами полных груди, шляпки с вишенками и райскими яблочками на полях) — набирали группы детей, человек по семь-восемь, водили их гулять в парки,

воспитывали, учили языкам. Языкам! Чему там учить? Высунуть язык далеко-далеко... еще дальше... теперь достать нос... отлично! Но все равно это всего лишь один язык, один, хоть ты тресни!

Нюта с лету хватается все эти дурацкие «айн-цвай-драй-фи-ир, ин ди шуле геен ви-ир», что приводит Полину в неопиcуемый экстаз. «Машенька! Машенька! — кричит она с порога, вернувшись с прогулки. — Я одного не могу понять: как ребенок, который со слуха мгновенно запоминает стишок на чужом языке, не может прочесть ни слова на родном?»

А что тут понимать: в голове есть такое зеркальце, в котором, если сильно сосредоточиться, отражается все, что хочешь запомнить. Надо только поймать зеркальцем нужный предмет, или слово, или, что гораздо веселее, цифру. И когда зеркальце поймает то, за чем охотится, считай это *навек* пойманным. И разве не у всех людей так устроено? И с буквами все было бы отлично, если писать их *правильно*, а не вздорно, шиворот-навыворот, как повсюду повешено и написано...

Однако в Полине и хорошего много: после прогулки она всегда покупает Нюте что-нибудь вкусное. Пухлое желтое бревнышко эклера, политое шоколадом, а внутри — заварной или сливочный крем волшебного вкуса. Или корзинку с розовым сиропом, в котором завязла бордовая вишенка...

К тому же на улице Полина безопасна. Там она не станет приставать со своей дурацкой «аскорбинкой», омерзительным кисло-горьким порошком, каким пичкает девочку дома — разворачивает плоский пакетик из кальки, делает его совком и, приговаривая: «Ро-о-от от-кры-ыли!» — сыплет порошок на Нютин обреченно высунутый ковшиком язык. На улице, нао-

борот, Полина в полной власти Нюты, — побаивается, что девочка даст деру. Это уже бывало, а бегают Нюта быстро, почти как мотоцикл. Короче, если Христина не станет заниматься подобной ерундой, счет в этом матче в ее пользу.

И хорошо бы она осталась насовсем.

Хотя Ма сказала, что Христина только приглядит за Нютой те несколько дней, пока Полину разрежут и снова хорошенько зашьют в больнице. Папа однажды объяснял, как человека режут и зашивают, а потом вытягивают нитки.

Три куклы были зарезаны и выпотрошены Нютой после его увлекательного рассказа.

Да...

Вот только Полина не вернется из больницы. Со-всем не вернется, никогда. Может, ей там настоль-ко нравится, что она так и будет глотать себе камни, а потом подставлять толстый живот под нож?

Христина между тем быстро и туго обернула девочку полотенцами, прикрутив к телу левую руку и оставив на свободе правую. Ловко сколола булавками, за-вертела, придерживая за плечо.

— Тю! От лялька!

— Я... мумия?

— Хто-о цэ?

— Мы с папой смотрели на картинке... это такой древний забинтованный мертвец.

— Тьфу! Та хибя ж ты мэртвяк? Ты жива дивчина. Ходь на калидор, глянь-но в дзэркало!

Нюта попробовала пойти и чуть не упала.

— Я... не могу... ногами! — испуганно сообщи-ла она.

— Усэ можешь! — крикнула Христина. — Брэ-шэш, можешь! Нижки-то в тэбэ он воны обе! Пишлы правэнькой ножэнькой упэрэд! А ну, топай!

Минут пять вместе ковыляли до прихожей. Там обитало чудесное, драгоценное и тайное... Никому про это нельзя было говорить.

Потому что днем, когда Полину вяжет сон, надо только терпеливо и хищно дожидаться дребезжащего храпа из кожаного кресла в столовой, куда Полина усаживается «полистать газету». Когда взмывает первая волна тракторного рыка под легчайший трепет газетных листов, надо мчаться — практически по воздуху, наступив на пять надежных паркетин, — в детскую, где на тумбочке возле Полининой кушетки, украшенное финифтью и тронутое проказой, стоит на высокой ноге ее старое круглое зеркало. На эмалевом исподе обносившийся Иван-Царевич умыкает совершенно уже безголовую Марью-Искусницу на колченогой кобыле.

И если осторожно поставить это зеркало на обувную тумбу в прихожей, точнехонько против другого, «генеральского», в резной черной раме, и медленно всплыть в глубокое, колеблемое тугими струями пространство между ними, открываются два входа в бесконечные зеркальные коридоры...

Нюта научилась скрывать эту игру, потому что Ма очень плохо относится к зеркалам, неохотно в них смотрится и даже, кажется, немножко боится, что очень глупо. Однажды, застав Нюту за медленным опьяняющим танцем меж двух зеркальных протоков, откуда изливалась волшебная гулкая прохлада, Ма почему-то испугалась и отняла Полинино зеркало, беспомощно вскрикивая: «Что ты делаешь, не понимаю, чем ты занята, что за глупости?»

И вот сейчас наполовину забинтованная Нюта стояла перед высоким «генеральским», с бронзовыми подсвечниками зеркалом.

— Кто... это? — хрипло спросила девочка, разглядывая однурукий пакет какого-то получеловека, привычно обегая изображение ощупывающим взглядом и переворачивая его справа налево. Отчего-то сейчас это было гораздо труднее сделать.

*Миг узнавания себя в зеркале всю жизнь был как затяжной прыжок с парашютом. Никогда не умела мгновенно слиться со своим отражением. В первый миг были — встреча, оторопь, сердечный толчок: кто-то в твоей одежде. Надо было себя перевернуть. И всякий раз заново переучиваться смотреть.*

*Хотя всегда узнавала себя в искаженной поверхности: в воде, в ложке, в пузатом боку эмалированного чайника.*

— О-о-т... — удовлетворенно проговорила Христина. — Оце так у нас в Пирново левшей выворачивают. Ты в нас скорэнько будэшь молодцом!

И часа два они с Христиной учились правой, слабой и неуклюжей рукой держать ложку, хватать мячик, бросать и поднимать с пола вещи, расчесываться. И даже управляться с куском газеты в уборной после «справы нужды».

— Христина, ну... хватит, — наконец попросила девочка. Лицо ее осунулось, глаза потемнели, пот бусянами высыпал над верхней губой. За все это время она ни разу не плюнула, не лягнула ногой невинную игрушку, не взвизгнула. — Развяжи меня! Надоело!

Христина вылепила отличную крупную дулю из красных пальцев и сунула Нюте под нос:

— От! — проговорила она. — Трымай! Назад нэ пойдэмо. От папанька у п'яць з оспиталья прыйдэ, так у полп'ятого и видщепну. Боженька терплячих полюбляе! А леваков проклятых боженька на дух нэ выносьте! Хошь з бисом водытыся?

Нюта ввалившимися глазами смотрела на няньку-мучительницу. С каким-то неизвестным и, судя по Христининому тону, малосимпатичным бисом она водиться не хотела. Впрочем, любит ли ее боженька, ей тоже было безразлично. Лучше бы, конечно, любил.

Однако... если никчемушная правая рука станет такой же умницей и проворницей, как левая, вот будет здорово кидать сразу пять мячиков, как тот жонглер в шапито!

Девочка присела на табурет и задумчиво — впервые — почесала нос правой рукою.

Господи, вот бы нюхнуть, вот бы шумно втянуть еще разок того густого волшебного аромата: смеси навоза, конского пота, свежих опилок, горячих фонарей и нагретого брезента! Как сердце забилось, когда заиграл оркестр, — грянул праздник, ударили по глазам из прожекторов струи красного и голубого света, и принц в коротком блестящем плаще, балансируя длинным шестом, нес на плечах миниатюрную девушку почти без одежды, но вся она сверкала и переливалась блестками, как настоящая Дюймовочка! И вдруг под страшный барабанный бой взлетала и пружинно приземлялась прямо на канат обеими ногами!

Папа тоже хлопал как сумасшедший и купил у тетки второе крем-брюле в коричневой пачке с нарисованным мушкетером. Но Нюта есть не могла. Сидела

с пересохшим ртом, не отрывая глаз от манежа. Навстречу ей по канату *во внутреннем зеркале* — в том, которое чуть выше глаз, — шла она, сама Нюта, с длинной палкой наперевес. Как вот эта Дюймовочка! Но не сейчас, не скоро.

— Папа! — возбужденно проговорила она, потянув отца за рукав макинтоша. — Я тоже так могу! Я так умею... Я потом-потом... через много дней... тоже так умею!

Отец отмахнулся:

— Что ты бормочешь, дочура, глупости какие! — и сам съел крем-брюле — как сказал ей потом, «на нервной почве, машинально, в три откуса».

И этот жонглер после представления...

Нюта с папой вышли последними, потому что она не желала уходить. Жонглер стоял, вернее, пружинно раскачивался из стороны в сторону в темном уголке возле огнетушителя. Он тренировался: подбрасывал и ловил пять желтых шариков. Время от времени шарик падал, жонглер ловил остальные — укладывал один за другим в длинную ладонь и наклонялся за упавшим. И вновь запускал над головой желтую пунктирную дугу.

— Ну постой, па... — умоляюще проговорила она. Остановилась рядом. Смотрела не отрываясь. Почему-то знала, когда шарик упадет. Вернее, видела, что вот он завис чуть ниже остальных и, значит, немного отклонился в общей дуге... Пропустила один, другой... и, молниеносно и точно подавшись влево, схватила падающий мячик и протянула жонглеру.

— Ай, bravo! — воскликнул он, забирая мячик разогретой ладонью. —левой, левой?! Ай, бра-а-аво!



И по дороге домой Нюта бежала, скакала, летела, далеко отбегая от отца и возвращаясь к нему, как счастливая собачонка, принесшая хозяину поноску.

Тогда он улыбался и говорил:

— Ай, бра-а-во!левой, левой? Ай, бра-а-во!

## 5

«...Я сразу понял, что знаком с ней давным-давно; что она и есть та маленькая хохотунья-подскока, что меня поразила и даже напугала много лет назад в киевской квартире совсем чужих людей.

Наш оркестр гастролировал тогда по городам Украины, и замдиректора филармонии попросила передать своей киевской родне («Сенечка, милый, не откажите!») какой-то сверток, мягкий и легкий, — я потому и согласился. Терпеть не могу таскаться с чужими передачками, когда в руке и так футляр с фаготом.

К тому же выяснилось, что живет эта самая родня как раз на улице Жадановского, которая бывшая Жилянская, Жилянская, Жилянская — и в народном киевском сознании другой так и не стала.

На которой когда-то я гостевал с дедом, летними короткими наездами.

Я любил Киев, неплохо его знал. В детстве каждое лето жил у деда в Жмеринке, и мы с ним обязательно приезжали в Киев на недельку. Остановливались у дедовой приятельницы, бывшей цирковой гимнастки, в перенаселенной коммуналке в старом двухэтажном доме на Жилянской.

Панна Ивановна ее звали. Фамилия какая-то армянская... Если память не изменяет, она немного спекулировала — так, для развлечения. Хвасталась, что первую в жизни торговую операцию произвела, сшив босоножки из солдатских ремней и продав их на рын-

ке, — мол, деньги нужны были позарез: как раз в те годы она крутила бешеную любовь с красавчиком-униформистом.

И курильщицей была вдохновенной, смолила одну за другой, но окурков не терпела, называла их мертвечиками. Если видела на кухне пепельницу с окурками, строго приказывала: «Уберите мертвечиков!»

Коммуналка эта была населена довольно колоритными типажам, словно подтверждая свое давнее назначение, — дед говорил, что в квартире прежде размещался один из респектабельных киевских борделей.

Удивительно, как эта разнокалиберная команда умудрялась довольно сносно, без скандалов, существовать. И какая только забавная шушера там не обитала! Например, некий странный художник, может, и небесталанный, но абсолютно асоциальный тип. Ходил в таком живописном тряпье, подозрительно дамском. То ли подбирал, то ли крал с веревок, то ли благодарные музы ему обноски дарили. Маэстро заставлял и меня, и деда ему позировать. Портреты, правда, не отдал, и сейчас я, бывает, с грустью думаю, что дедов портрет купил бы, не задумываясь, за приличные деньги... (С другой стороны, куда бы я его дел, на какой умозрительный гвоздь повесил в своих бесконечных переездах?)

Помню эту длинную промышленную улицу, где, впрочем, изредка попадались и бывшие доходные дома — с орнаментом, скульптурными украшениями, даже с кариатидами! В отличие от Крещатика, разбомбленного в войну, этот район — и Жилянская, и Саксаганского, Тарасовская, Старовокзальная, Чкалова — та, что бывшая Столыпинская, — весь сохра-

нился, был забит до отказа клопочущим людом самого разного пошиба, тарактел, дребезжал трамваями, вопил калеными глотками Центрального стадиона, кипел бурной жизнью цирка на знаменитом Евбазе.

Помню большой немощеный двор с развешанным бельем, голубятню, дровяные сараи, дощатый дворовый сортир и огромную лужу у водоразборной колонки.

По дедовскому списку — филармония обязательна и отмене не подлежит! — мы с ним выхаживали и вывизгивали на трамваях по летнему городу огромные расстояния. Попутно он закупал себе часовой фурнитуры.

Я тогда был влюблен в автомобили, меня мучительно волновал запах большого города: сложная смесь газаolina, горячего масла и свежего бензина от проезжавших машин, запах жареных пирожков на уличных лотках и политых из шланга улиц. Я еще помню дворников со шлангами в руках. Помню множество огромных, шевелящихся под ветром клумб, пунцовых от роз, гвоздик и тюльпанов.

И мне ужасно нравились усатые киевские трамваи (одна из присказок деда: «Пока ходят трамваи, будем жить!»). В те годы они были раскрашены так: низ темно-синий либо ярко-красный, верх — светло-кремовый, как на пирожных. И разлапистая пятиконечная звезда на плоской, как бы тупо изумленной морде.

Филармонический зал, лучший по акустике в Киеве, дед называл Купеческим собранием и сад позади него, Пионерский, тоже называл Купеческим. После концерта вел меня пешком через трамвайные рельсы, всегда возбужденный, взволнованный — дед был уникальным меломаном, влюбленным в духовые инстру-

менты, — и всегда напевал-проборматывал минувшую музыку.

— У кларнета, Сенчис, — говорил дед, — все регистры хороши, почти все. Басы его, угрюмо-зловещие — в начале вот Пятой симфонии Чайковского — помнишь, в прошлый раз слушали? Затем полторы-две октавы ровненькие, блестящие, с нервом! Любое тутти оркестра прорежет, хоть три форте, хоть пять! Плачь, ликуй, в любви объясняйся — все кларнету подвластно, всюду он хорош... И атака мгновенная! И стаккато щегольское!.. Но кларнет, Сенчис, инструмент открытых чувств — даже когда звучит зловеще! В его голосе подтекста нет, нет второго плана. А вот фагот, Сенчис, это совсем иной коленкор... Мне приятель рассказывал — он играл в филармоническом оркестре как раз на фаготе, — что сам Рахлин, Натан Григорьевич Рахлин, великий дирижер, на репетиции «Патетической» сказал однажды: «Оркестр, слушайте фагот! Он *поворачивает!*» — Дед останавливался перед тем, как *повернуть* в очередной проходной двор, и я послушно, как лошадь, останавливался рядом. — А после соло фагота, когда тема проходит у деревянных, Рахлин своими толстыми, как сардельки, пальцами, показывал каждую шестнадцатую! «Фагот поворачивает! Фагот поворачивает!» Дай бог тебе, Сенчис, когда-то понять: это гениально сказано!

Проходными дворами Киева можно было полгорода пронизать — каменные ступени, подворотни, перепады высот, замшелые лесенки с одной улицы на другую. Запах прелого, слежавшегося тополиного пуха, а над ним — одуряющий запах лип и непередаваемо тонкий, как звук далекого английского рожка, вечер-

ний аромат бархатистых лиловых цветков с оперным именем «маттиола».

Однако главным был запах круглого хлеба — «арнаутской булки», и сейчас мне кажется, что при всей своей любви к деревянным духовым дед приезжал в Киев именно за ним — за неповторимым, духовитым и сытным запахом «арнаутки».

Как описать этот запах? Не знаю... Ничего похожего на кислый дух черного хлеба или сладковатую отдушку белой булки.

Дед просыпался рано, брился опасной бритвой над старой, с проплешинами ржавчины, раковиной в гостеприимной коммунальной кухне, натягивал сапоги убитого итальянского солдата и шел в соседнюю булочную к открытию, как на свидание с женщиной. Собственно, «арнаутка» и пахла как женщина — вечно неизведанным счастьем.

В коммуналке деда прозвали «Арнауткин». Спрашивали: «Панна Иванна, к вам когда в другой раз Арнауткин приедет?»

Недавно в Бостоне в русском магазине я увидел круглую буханку с ценником: «Арнаутская булка». И сразу купил.

Разумеется, ничего похожего на божественный аромат моих детских киевских гостеваний.

Так что в Киев я всегда приезжал с удовольствием и тайным волнением, хотя в конце шестидесятых город уже стал другим.

Однако в ресторане при гостинице «Театральная» на углу Владимирской и Ленина, как раз напротив оперного театра, по-прежнему подавали в трех кокотницах отличный куриный жульен с грибами — и за очень умеренные деньги.

На второй день после концерта я наконец собрался выполнить просьбу.

Семья, в которую вез передачку, оказалась чудесной, приветливой, по супруге — даже музыкальной. Выяснилось, что хозяйка была на нашем концерте, и — ах, если б она только знала... словом, меня усадили пить чай, а к чаю присовокупили кое-что целительное — в то время я здорово зашибал, сердце еще было молодое, помалкивало себе.

И разговор покатился такой душевный и вышел — а это нетрудно в те годы было — на репрессированных родных и знакомых. Я вырос в Гурьеве, хозяйка Маша — в Семипалатинске... Мы как-то подались друг к другу, как забытые родственники. А муж ее, здоровенный, молчаливо-радушный хохол — кажется, он был военный доктор, к тому же в чинах, — подливал мне и подливал.

Вдруг из какого-то своего закутка выскакивает эта девчонка.

Но сначала зычный всенародный голос завопил:

— Ньюта-Нюта-Ню-у-у-у!

Возникло как из-под земли чучело лет пяти, ростом с пенек — в шляпе с цветами, в длинной материнной шелковой юбке и блузке с огромным вырезом, в котором двумя кнопками — детские глазастые соски.

— Хотите видеть краса-а-авицу?!

Хоп! — туфля полетела вверх, каблуком чуть не сбив отцовский бокал на столе.

Хоп! — другая туфля задела тяжелую пятирожковую люстру, и та угрожающе закачалась над нашими головами.

Вслед за девчонкой выскочила толстозадая девица с головой микроцефала и огромными лапищами.

Она пыталась поймать это чудо-юдо, загнать в какой-то там ящик Пандоры, откуда та столь стремительно выскочила. Однако ни догнать, ни совладать с этим маленьким смерчем не могла. И девчонка дважды еще выбегала в разных нарядах со своим воплем:

— Хотите видеть краса-а-авицу?!

...А я детей вообще-то не люблю и не понимаю. Я не знаю, как с ними разговаривать, скучаю, раздражаюсь, стараюсь куда-нибудь смыться.

Но эта прыгала так изумительно, да еще винтом успевала перекрутиться в прыжке. Кузнечик какой-то...

Выбежав во второй раз, заметила меня, застыла на мгновение... и вдруг хохотать стала, заливисто, потешно, хватаясь за живот. Рот от уха до уха, зубы — крупные «взрослые» вперемешку с молочными, остренькими. Две дырки на месте верхних клыков. Забавный такой человечек, радость из нее была фонтаном! И дикая энергия. А глаза невероятные, морские — зеленая просинь, — цепляли они тебя поверх смеха так взрослому, словно дознаться хотели: ты откуда? ты кто?

— Ты чего? — спрашиваю. — Чего смеешься?

— Ой, смично! — крикнула она. — Смично!

— Чего тебе смешно?

— Он как папа! — кричала она, и прыгала, и пальцем в меня показывала. — У него день рождения, как у папы!

И тут произошло нечто странное: лица хозяев дома погасли, глаза обреченно потупились.

— Ньюта, тебе спать пора! — резко сказал отец.

— Как у папы! Тот же день! — и заливалась смехом.

— А когда у папы день рождения? — спросил я это шербатое чудище.

Она задрала ногу к уху, схватила за щиколотку, притянула к лицу. Отчеканила:

— Девятнадцатое сен-тя-пря!

Я оторопел, хмыкнул... Попала! А она все крутилась и ногами вытворяла черт-те что, и руки как мельница. Сейчас таких детей называют гиперактивными, а тогда и диагноза подобного никто не слышал. Говорили просто: невыносимый ребенок. «Ой, смично!»

Она была невыносима.

Но более всего поразили меня тогда лица ее родителей, их извиняющиеся улыбки, опущенные глаза, словно вдруг обнаружилась дурная семейная болезнь. Отец поднялся и — при госте неудобно было воспитывать, прикрикнуть — стал выпроваживать ее, растопырил руки и отгеснял всем своим большим телом в конец коридора, где, видимо, была ее комната. И еще дважды девчонка выскакивала оттуда, радостно вопя детские глупости и выделывая ногами-руками фортеля так, что у меня в глазах зарябило. И дважды отец смущенно ретировался ее успокаивать. Когда наконец вернулся за стол, я сказал:

— У вас дочка очень талантливая... к спорту. Вам надо ее на акробатику, что ли, отдать.

И оба они благодарно закивали:

— Да-да, нам уже говорили, вот с сентября определим в спортивный кружок...

Странно, что ни он, ни его жена даже не поинтересовались — мол, а что, между прочим, какого числа всамделе у вас день рождения? Выходит, знали, что прозрения ее снайперские. Выходит, она с самого раннего детства их озадачивала.

Жаль, я тогда уже был довольно выпивши, а пьяному все трын-трава, хоть день рождения тебе назови, хоть дату смерти...

Как пили все мы тогда, боже ты мой, как пили!